### Попугай, который знал Папу

#### Рэй Брэдбери

Разумеется, о похищении узнал весь мир.

Понадобилось несколько дней, чтобы все значение этой новости с Кубы поняли и в Соединенных Штатах, и в Париже, и в маленьком уютном кафе в Памплоне, где так великолепны напитки, а погода почему-то всегда самая лучшая.

Но когда смысл этой новости дошел, все повисли на телефонах, Мадрид вызывал Нью-Йорк, Нью-Йорк же кричал на юг, Гаване: «Проверьте, пожалуйста, обязательно проверьте — неужели такое безумие возможно?»

А потом пробилась женщина из Италии, из Венеции, расслышать все, что она говорила, было трудно — разобрали только, что она звонит из бара «У Гарри» и просто уничтожена, то, что случилось, ужасно, ведь над культурным наследием нависла страшная опасность.

Потом, меньше чем через час, мне позвонил прозаик и бейсболист — в свое время он был закадычным другом Папы, а теперь жил половину года в Мадриде, половину в Найроби. Он плакал, или, во всяком случае, так казалось.

— Расскажи мне, — попросил он с другой стороны земли, — что на самом деле произошло? Каковы факты?

А факты были таковы: в Гаване, километрах в четырнадцати от «Финки Вихии», усадьбы Папы, есть бар, который он посещал. Тот, где в его честь назвали коктейль, а вовсе не тот, шикарный, где он встречался с литературными светилами вроде К-к-кеннета Тайнена и... э-э... Т-теннесси У-уильямса (как проговорил бы это мистер Тайнен). О нет, это совсем не «Флоридита»; сюда приходят без пиджаков, столы здесь из необструганных досок, пол посыпан опилками, а большое зеркало по ту сторону стойки — словно грязное облако. Сюда Папа шел, когда во «Флоридите» был слишком большой наплыв туристов, которым хотелось познакомиться с мистером Хемингуэем. И то, что здесь теперь произошло, не могло не стать большой новостью, большей, чем то, что он говорил Скотту Фицджеральду о богачах, большей, чем история о том, как в давно прошедшие времена он набросился в кабинете у Чарли Скрибнера, издателя, на Макса Истмена. Новость касалась дряхлого попугая.

Жила эта преклонных лет птица в клетке, а клетка пребывала на стойке бара, о котором идет речь — теперь он называется «Куба либре». Там старый попугай обитал уже почти тридцать лет; это означает, что он жил там все время, пока Папа жил на Кубе.

И самое главное: с тысяча девятьсот тридцать девятого года, когда Папа поселился в «Финке Вихии», он знал попугая и с ним разговаривал, и попугай с ним разговаривал тоже. Шли годы, и люди стали поговаривать, что Хемингуэй начал говорить, как этот попугай, однако другие утверждали: нет, это попугай стал говорить, как Хемингуэй! Бывало, Папа поставит свои стаканчики на стойке в ряд, сядет перед клеткой и заведет с птицей разговор, интересней которого ты не слышал, дня на четыре подряд. К концу второго года их знакомства попугай знал о Хеме, и Томасе Вулфе, и Шервуде Андерсоне больше, чем сама Гертруда Стайн. Больше того, попугай даже знал, кто такая эта Гертруда Стайн — трудно поверить, но знал. Только скажешь «Гертруда», и попугай цитирует: «Голуби с травы увы».

А то, бывало, когда очень попросят, попугай заведет: «Были этот старик, и этот мальчик, и эта лодка, и это море, и эта большая рыба в море...» А потом замолчит и съест крекер.

Так вот: эта сказочная птица как-то в воскресенье, под вечер, исчезла из «Куба либре» вместе со своей клеткой.

И вот почему надрывался теперь мой телефон. И вот почему один из самых популярных журналов получил от государственного департамента специальное разрешение и самолетом отправил меня на Кубу: вдруг мне повезет, и я найду там хотя бы клетку, или хоть что-нибудь, оставшееся от птицы, или похитителя. Статья, сказали мне, нужна легкая и незлая, с подтекстом. И, если уж говорить всю правду, мне самому было любопытно. Слухи об этой птице доходили до меня и раньше. Непонятно, что именно, но что-то во всей этой истории не оставляло меня равнодушным.

Я сошел с реактивного лайнера, на котором прилетел из Мехико, взял такси и покатил через Гавану к этому странному маленькому бару.

И каким-то чудом я все-таки смог туда проникнуть. Едва я перешагнул порог, как со стула вскочил смуглый человечек и закричал:

— Уходите! У нас закрыто!

Он выбежал и стал навешивать на дверь замок, показывая этим, что и в самом деле хочет закрыть заведение. На столиках было пусто, и ни за одним из них никто не сидел. Когда я вошел, он, видно, просто проветривал помещение.

— Я насчет попугая, — сказал я.

— Нет, нет, — закричал он, и мне показалось, что глаза у него стали влажными, — не желаю разговаривать! Это свыше моих сил. Не будь я католиком, я бы уже убил себя. Бедный Папа! Бедный Кордова!

— Кордова? — удивленно выдавил я из себя.

— Так, — прорычал он, — звали попугая!

— Ну да, — мигом нашелся я. — Кордова. Я приехал его спасти.

Он уставился на меня и заморгал. Словно тень легла на его лицо, потом — солнечный блик, а потом снова тень.

— Невозможно! Вы? Нет, нет! И никто не сможет! Кто вы такой?

— Друг Папы и попугая, — скороговоркой выпалил я. — Чем дольше мы говорим, тем дальше уходит от нас преступник. Хотите, чтобы сегодня вечером Кордова был здесь? Тогда сделайте себе и мне несколько коктейлей Папы и давайте поговорим.

Мой уверенный тон подействовал. Не прошло и двух минут, а мы уже сидели у стойки, возле места, где прежде стояла клетка, а теперь ничего не было, и пили Папин любимый. Человечек — его звали Антонио — все вытирал и вытирал место, где стояла клетка, а потом тер той же самой тряпкой себе глаза. Покончив с первым стаканом и начиная второй, я сказал:

— Мы имеем дело не с каким-нибудь заурядным похищением.

— Вы мне это говорите! — воскликнул Антонио. — Люди со всего мира приезжали посмотреть на этого попугая, поговорить с Кордовой, послушать, как он — о, боже! — говорит голосом Папы. Пусть провалятся его похитители в преисподнюю и горят там, да, пусть горят!

— Будут гореть, — подтвердил я. — Кого вы подозреваете?

— Никого. Всех.

— Похититель, — сказал я, закрыв на мгновение глаза, смакуя коктейль, — наверняка образованный, наверняка читает книги — ведь это ясно, не так ли? Кто-нибудь похожий был здесь в последние несколько дней?

— Образованный, необразованный! Последние десять, последние двадцать лет, сеньор, все время бывали люди из разных стран, все время спрашивали Папу. Пока Папа был, они знакомились с Папой. Когда Папы не стало, они начали знакомиться с Кордовой — с ним, великим. И так все время — из разных и разных стран.

— Но все же подумай, Антонио, может, вспомнишь, — сказал я, дотрагиваясь до его дрожащего локтя. — Чтобы ошивался здесь последние дни, и был не только образованный, читал книги, но и, как бы это сказать... был чудной. Такой странный, muy excentrico, что он запомнился тебе больше других. Такой, чтобы...

— Madre de Dios! — закричал, вскочив, Антонио. Взгляд его устремился в глубины памяти. Он обхватил свою голову с таким видом, как будто в ней только что произошел взрыв. — Благодарю вас, сеньор. Si, si! Ну и тварь! Был, был здесь такой, клянусь Спасителем! Очень маленький. И говорил вот так, тонко-тонко — и-и-и-и — как muchacha ...в школьной пьесе, да? Будто ведьма проглотила канарейку, и та поет у нее в животе! И на нем был костюм из синего вельвета и широкий желтый галстук.

— Так, так! — Теперь и я вскочил на ноги и сейчас почти кричал. — Продолжай же!

— И лицо, сеньор, маленькое и очень круглое, а волосы светлые и на лбу подстрижены, вот так — ж-жик! И маленький ротик, очень розовый — как... леденец, да? Он... он был как... да, как uno muneco, такую можно выиграть на карнавале...

— Пряничная кукла!

— Si! В Кони-Айленде, да, когда я был ребенком — пряничные куклы! И он был вот такого роста — видите? Мне по локоть. Не лилипут, нет, но... и какого он возраста? Кровь Христова, кто может это сказать? Ни одной морщины на лице, но... тридцать, сорок, пятьдесят. И на ногах...

— ...зеленые туфельки! — закончил за него я.

— Que?

— Полуботинки, туфли!

— Si. — Он заморгал, ошеломленный. — Но как вы узнали?

— Шелли Капон! — взревел я.

— Правильно, так его и зовут! И с ним друзья, сеньор, они все время смеялись... нет, хихикали. Как монахини, которые под вечер играют около церкви в баскетбол. О, сеньор, так вы думаете, что это они, что это он?..

— Не думаю, Антонио — знаю. Шелли Капон ненавидел Папу, как ни один пишущий человек в мире. Уж он-то безусловно мог утащить Кордову. Минуточку: а не ходил ли одно время слух, что эта птица помнит наизусть последний, самый великий и еще не записанный на бумагу роман Папы?

— Такое говорили, сеньор, Но я не пишу книг. Я стою за стойкой. Я даю птице крекеры. Я...

— Мне, Антонио, ты дай, пожалуйста, телефон.

— Вы знаете, где попугай, сеньор?

— Что-то мне говорит, что да, и говорит очень громко.

Я набрал номер «Гавана либре», самого большого отеля в городе.

— Шелли Капона, пожалуйста.

В трубке загудело, потом щелкнуло.

В полумиллионе миль от меня какой-то мальчик-недоросток с Марса взял трубку — и запел флейтой, а потом зазвенел колокольчиком его голос:

— Капон слушает.

— Провалиться мне, если нет! — воскликнул я.

И, вскочив, выбежал из бара «Куба либре».

Мчась на такси назад, в Гавану, я думал о Шелли — о таком, каким мне его прежде доводилось видеть. Вокруг стремительным вихрем несется хоровод друзей, а сам он держит все, что у него есть, в чемоданах, которые с собою возит; половником зачерпывает себе из чужих тарелок суп; выхватив из вашего кармана бумажник, берет у вас взаймы; только что уплетал за обе щеки салат, и вот его уже нет, только кроличий горошек у вас на ковре — прелестный малыш!

Через десять минут мое такси, лишенное тормозов, извергло, придав мне ускорение, меня наружу и, повернувшись вокруг своей оси, ринулось на другой конец города, к какой-то своей окончательной аварии.

Не снижая скорости, я влетел в вестибюль, на миг остановился, чтобы спросить, бросился наверх и остановился перед дверью Шелли. Она спазматически пульсировала, как плохое сердце. Я приложил к ней ухо. Так дико вопить и верещать могла стая птиц, у которых буря вырвала перья. Я дотронулся до двери. Теперь она тряслась, как огромная стиральная машина, которая проглотила и теперь жует психоделическую рок-группу и целую кучу очень грязного белья. Мне показалось, будто мои носки и трусы ожили и начали ползать у меня по ногам.

Я постучался. Никакого ответа. Я слегка нажал ладонью на дверь. Она плавно открылась. Я шагнул через порог и увидел сцену такую страшную, что ее не стал бы писать даже Босх.

То ли в комнате, то ли в свином хлеву валялись где придется куклы в человеческий рост; глаза у них были полуоткрыты, в обожженных, бессильных пальцах дымились сигареты или блестели пустые стаканы из-под виски, между тем как тела их содрогались под ударами музыки, передаваемой, по-видимому, из сумасшедшего дома где-то в Штатах. Вид был такой, как будто только что здесь пронесся огромный локомотив, он разбросал свои жертвы в разные стороны, и теперь они лежали в самых неожиданных позах, кто в одном углу комнаты, кто в другом, и стонали, словно им требовалась срочная медицинская помощь.

Посреди этого содома восседал прямой, как будто проглотил палку, щеголь. На нем были вельветовая куртка и галстук бабочкой цвета хурмы, а обут он был в бутылочно-зеленые туфельки. Кто это был, спросите вы? Ну конечно, Шелли Капон! Не обнаружив и тени удивления, он царственным жестом протянул мне стакан и закричал:

— Я сразу понял, что это звонишь ты! Я абсолютно телепатичен! Добро пожаловать, Раймундо!

Он всегда называл меня Раймундо. Рэй было для него слишком просто. Имя «Раймундо» превращало меня в латифундиста со скотоводческой фермой, полной племенных быков. Я не спорил, Раймундо так Раймундо.

— Садись! Да нет, как-нибудь иначе, поинтересней.

— Извини, — сказал я так похоже на Дэшиэлла Хэммета, как только мог — выставив вперед подбородок и делая стальные глаза. — Нет времени.

Я пошел по комнате, следя за тем, чтобы не наступить на кого-нибудь из его друзей — Гнойничка, Мягонького, Добренького, Толстячка и одного актера — помню, его однажды спросили, как он сыграет роль в каком-то фильме, и он сказал: «Сыграю лань».

Я выключил приемник. Тут люди в комнате зашевелились. Я выдернул корни приемника из стены. Кое-кто приподнялся и сел. Я открыл окно и вышвырнул приемник наружу. Раздался такой визг, будто я бросил их матерей в шахту лифта.

Звук, донесшийся с асфальтового тротуара внизу, был как музыка для моего уха. С блаженной улыбкой на лице я отвернулся от окна. Кое-кто уже поднялся на ноги и клонился в мою сторону — возможно, это следовало понимать как угрозу. Я вынул из кармана двадцатидолларовую бумажку, протянул ее не глядя кому-то и сказал:

— На, купи новый.

Тот, тяжело поднимая ноги, выбежал из комнаты. Дверь захлопнулась. Я услышал, как он падает по лестнице — будто спешит к своему утреннему уколу.

— Ну, так где же он, Шелли? — спросил я.

— Что где? Ты о чем, милый?

От удивления он широко открыл глаза.

— Сам знаешь, — и я вперил взгляд в его крохотную ручку, державшую стакан с коктейлем.

С тем самым, который был любимым напитком Папы, фирменной (подается только в «Куба либре»!) смесью рома, лимона и папайи. Словно для того, чтобы уничтожить улики, он выпил его одним глотком.

Я подошел к стене, в которой было три двери, и к одной из них протянул руку.

— Это, милый, стенной шкаф.

Я протянул руку к другой.

— Не входи. То, что ты увидишь, не доставит тебе удовольствия.

Я не вошел.

Я протянул руку к третьей двери.

— Ну ладно, дорогой, входи, — жалобно сказал Шелли.

Я открыл дверь.

За дверью оказалась совсем маленькая комнатушка, в ней — узкая кровать, у окна — стол.

На столе стояла клетка, а на клетку был наброшен платок. В клетке что-то шуршало и царапало чем-то твердым проволоку.

Шелли Капон подошел и, не отрывая глаз от клетки, стал около меня, у порога; его пальчики сжимали уже новый стакан с коктейлем.

— Как жаль, что ты приехал не в семь вечера, — сказал Шелли.

— Почему именно в семь?

— Почему? Неужели непонятно? Мы бы как раз кончили есть нашу птицу, фаршированную диким рисом с приправами. Интересно, много ли белого мяса у него под перьями, да и есть ли оно у него вообще?

— И ты бы смог?! — заревел я.

Мой взгляд пронзил его насквозь.

— Да, смог бы, — подумал я вслух.

Перешагнул порог я не сразу. Потом медленно подошел к столу и остановился перед клеткой, закрытой платком. Посредине платка было вышито крупными буквами одно слово: МАМА.

Я посмотрел на Шелли. Он пожал плечами и стал застенчиво разглядывать носки своих ботинок. Я протянул руку к платку.

— Подожди. Прежде чем снимешь... спроси что-нибудь.

— Что, например?

— Ну, о Ди Маджо. Скажи: Ди Маджо.

В голове у меня включилась со щелчком десятиваттная лампочка. Я кивнул. Я наклонился к закрытой клетке и прошептал:

— Ди Маджо. Тысяча девятьсот тридцать девятый год.

Молчание — то ли живого существа, то ли компьютера. Из-под слова МАМА послышался шорох перьев, по проволочной сетке застучал клюв, и тоненький голосок сказал:

— Полных пробежек тридцать. Отбитых в среднем триста восемьдесят один.

Я был ошеломлен. Но тут же прошептал:

— Бейб Рут. Тысяча девятьсот двадцать девятый год.

Снова молчание, перья, клюв, и:

— Полных пробежек шестьдесят. Отбитых в среднем триста пятьдесят шесть. У-ук.

— Боже, — сказал я.

— Боже, — отозвался как эхо Шелли Капон.

— Точно, это тот попугай, который знал Папу, тут уж не ошибешься.

— Да, это он.

И я сдернул с клетки платок.

Не знаю, что я надеялся под ним увидеть, Быть может, крошечного охотника в сапогах, куртке и широкополой шляпе. Быть может, маленького бородатого рыболова в свитере, сидящего на деревянной скамеечке. Что-нибудь крошечное, литературное, человекоподобное, фантастическое — только не попугая.

Но только попугай там и был.

И, к тому же, не очень красивый. Вид у него был такой, как будто он уже не один год провел без сна; оказалось, что это одна из тех птиц-нерях, которые никогда не приглаживают свои перья и не чистят клюв. Черный и ржаво-зеленый, клюв грязно-желтый, и под глазами круги, будто он любит приложиться к бутылочке. Легко можно было себе представить, как он, с трудом держась в воздухе, то взлетая, то прыгая по земле, выбирается в три часа утра из какого-нибудь бара. Это был гуляка попугайского мира.

Шелли Капон прочитал мои мысли.

— Когда набросишь платок, — сказал он, — впечатление лучше.

Я снова набросил платок на клетку.

Голова у меня заработала, быстро-быстро. Я наклонился к клетке и прошептал:

— Норман Мейлер.

— С трудом запомнил алфавит, — сказал голос из-под платка.

— Гертруда Стайн, — сказал я.

— Страдала крипторхизмом, — сказал голос.

— Боже!

У меня перехватило дыхание. Я попятился. Тупо уставился на платок, закрывавший клетку. Моргая, перевел взгляд на Шелли.

— Ты понимаешь, Капон, что это такое?

— Золотая жила, всего-навсего, дорогой Раймундо! — радостно проворковал он.

— Монетный двор! — поправил я.

— Неисчерпаемые возможности для шантажа!

— Поводы для убийства! — продолжал я.

— Только представь себе! — и Шелли фыркнул в стакан. — Только представь себе, сколько издатели одного только Мейлера заплатят за то, чтобы эта птица умолкла!

Я снова повернулся к клетке:

— Скотт Фицджеральд.

Молчание.

— Попробуй «Скотти», — посоветовал Шелли.

— А-а, — протянул голос под платком. — Хороший удар левой, но не мог держать уровень до конца. Неплохой соперник, но...

— Фолкнер, — сказал я.

— Средние результаты по очкам хорошие, всегда играл только в одиночном разряде.

— Стейнбек!

— Закончил сезон последним.

— Эзра Паунд!

— В тысяча девятьсот тридцать втором году запродался командам класса «Б».

— Хвачу-ка я, пожалуй, стаканчик еще чего-нибудь.

В руку мне сунули стакан. Я одним духом выпил его и тряхнул головой. Закрыл глаза и почувствовал, как земля сделала полный оборот у меня под ногами; потом открыл глаза и посмотрел на Шелли, классического сукина сына.

— Есть и еще кое-что, пофантастичнее, — сказал он. — Ты ведь слышал только первую половину.

— Лжешь, — сказал я. — Что еще может быть?

Лицо его осветила лучезарная улыбка — улыбаться как Шелли Капон, так лучезарно и абсолютно злодейски, не сможет ни один человек на свете.

— Было еще так, — сказал он. — Ты, конечно, помнишь, что в последние годы здесь, на Кубе, Папе стало трудно записывать свои сочинения на бумаге? Так вот: он задумал еще роман, после «Островов в океане», но ему как-то не удавалось его записать. То есть весь роман был у него в голове, и многим он о нем говорил, но только никак не мог записать — не удавалось, и все тут. И потому он шел в «Куба либре», пил стакан за стаканом и вел долгие разговоры с попугаем. Так вот, Раймундо: рассказывал Папа Кордове в эти долгие ночи свою последнюю книгу. И птица все запомнила.

— Свою последнюю книгу! — воскликнул я. — Последний роман Хемингуэя! Записан только в мозгу у попугая! О, боже!

Шелли кивал, улыбаясь своей улыбкой распутного херувима.

— Сколько ты хочешь за эту птицу?

— Милый мой Раймундо, — и Шелли Капон помешал в своем стакане розовым пальчиком. — С чего ты взял, что эта тварь продается?

— Ты продал однажды свою мать, потом украл ее и продал еще раз, под другим именем. Брось, Шелли. Ты затеял какую-то крупную игру, — и я задумался около закрытой платком клетки. — Сколько телеграмм разослал ты за последние четыре-пять часов?

— Ну и ну! Я начинаю бояться!

— Сколько международных телефонных разговоров с оплатой на другом конце провода заказал ты с сегодняшнего утра?

Шелли Капон вздохнул, громко и скорбно, и вытащил из своего вельветового кармана смятую копию телеграммы. Я взял ее и прочитал:

Друзья Папы встречаются Гаване предаться воспоминаниям над бутылкой и птицей тчк телеграфируйте свою цену или привезите собой чековые книжки, и непредвзятость тчк раньше сел больше съел тчк белое мясо но по расценкам икры тчк могут быть проданы исключительные права кино телевидению прессе любой страны тчк с любовью тчк Шелли сами знаете какой тчк

О боже, еще раз подумал я и уронил телеграмму на пол: Шелли дал мне список тех, кому она была послана.

«Тайму». «Лайфу». «Ньюсуику». Скрибнеру. Саймону и Шустеру. «Нью-Йорк таймс». «Крисчен сайенс монитор». Лондонской «Таймс». «Монд». «Пари-матч». Одному из Рокфеллеров. Нескольким Кеннеди. Си-би-эс. Эн-би-си. Эм-джи-эм. Братьям Уорнерам. «Твентис сенчури — Фокс». И так далее, и так далее, и так далее. Списку не видно было конца, как моему все ухудшающемуся настроению.

Шелли Капон бросил на стол, около клетки, охапку ответных телеграмм. Я быстро их проглядел.

Все, буквально все сейчас были уже в воздухе. Реактивные лайнеры мчались сейчас в Гавану со всех концов света. Пройдет два часа, четыре, самое большее шесть, и Куба будет уже кишеть литературными агентами, издателями, дураками, просто дураками, плюс контрразведчиками, потенциальными похитителями и белокурыми красотками, которые надеются увидеть себя на обложке журнала с этой птицей на плече.

Я прикинул: возможно, у меня есть еще полчаса, а то и больше, для того, чтобы что-то сделать, что — я пока не знал.

Шелли толкнул меня локтем.

— А кто послал тебя, дорогуша? Ты знаешь, что ты первый? Предложи хорошую цену, и, может быть, птица будет твоя. Конечно, я должен буду рассмотреть и другие предложения. Но, вообще говоря, не исключено, что здесь станет тесно и противно. Я уже немного в панике от того, что я сделал. Очень может быть, что я захочу продать задешево и смыться. Потому что, ты ведь это понимаешь тоже, целое дело вывезти попугая из страны, так? Черт возьми, Раймундо, кто же все-таки тебя послал?

— Кое-кто, но теперь это уже совсем не важно, — задумчиво сказал я. — Приехал я от чужого имени. Уеду — от своего. С этой минуты есть только птица и я, остальное не играет роли. Папу я читал всю жизнь. Теперь я знаю: я приехал потому, что не приехать не мог.

— Боже мой, альтруист!

— Ты уж прости меня за это, Шелли.

Зазвонил телефон. Шелли схватил трубку. С минуту проболтал оживленно, сказал, чтобы его подождали внизу, положил трубку и победоносно на меня поглядел.

— Эн-би-си уже в вестибюле. Хотят записать часовое интервью с Кордовой. Суммы называют шестизначные.

Словно тяжелую ношу взвалили на мои плечи: они согнулись. Снова зазвонил телефон. На этот раз, к собственному своему удивлению, трубку схватил я. Шелли вскрикнул. Но я ответил:

— Да?

— Сеньор, — сказал мужской голос, — тут сеньор Хобуэлл, говорит, что от журнала «Тайм».

Я представил себе следующий номер «Тайма»: голова попугая на обложке и шесть страниц текста.

— Скажите, чтобы подождал, — и я положил трубку.

— «Ньюсуик»? — попробовал отгадать Шелли.

— Нет, тот, другой, — сказал я.

— Наверху, в тени холмов, снег был сухой, — сказал голос из-под платка.

— Заткнись, — сказал я тихо и устало. — Заткнись, черт бы тебя побрал.

В дверном проеме позади нас появились тени: прибывали и заходили в комнатушку друзья Шелли Капона. Их становилось все больше, и я начал дрожать и потеть.

И почему-то я начал подниматься на ноги. Мое тело намеревалось сделать что-то — что именно, я пока не знал. Я смотрел на свои руки. Вдруг правая рванулась. Свалила клетку, открыла проволочную дверцу и метнулась внутрь — схватить птицу.

— Нет!

Будто грохочущая волна обрушилась на берег — такой звук вырвался из гортаней собравшихся. Вид был у каждого такой, как будто его ударили в живот. Каждый, выдохнув воздух, подавался вперед, но к тому времени, когда все они уже кричали, я попугая из клетки вытащил. Держал я его за шею.

— Нет! Нет!

Шелли на меня прыгнул. Я ударил его ногой по голеням. Он взвыл и опустился на пол.

— Не двигаться! — сказал я и едва удержался от смеха, услышав из своих уст это старое клише. — Видели, как свертывают голову курам? У этого попугая шея тонкая. Повернешь — и конец. Чтобы никто не пошевелился!

Никто не шевелился.

— Ну и сукин же ты сын, — сказал Шелли.

Я ждал: вот сейчас они все разом на меня набросятся. Ясно себе представил, как меня бьют, а когда мне удалось вырваться и я убегаю от них по пляжу, эти каннибалы берут меня в кольцо и пожирают, в духе Теннесси Уильямса, с ботинками и всем прочим. Я испытывал жалость к своему скелету, который найдут на центральной площади Гаваны завтра на рассвете.

Но они не убили меня и даже не поколотили. И я понял: пока мои пальцы сжимают шею попугая, который знал Папу, я могу здесь стоять хоть до второго пришествия.

Сердцем, душой и всем нутром я жаждал оторвать птице голову и швырнуть разъятые останки в эти бледные шершавые лица. Жаждал замуровать дверь в прошлое и навсегда уничтожить живую память Папы, раз над ней нависла угроза стать игрушкой в руках этих слабоумных детей.

Но я не мог, по двум причинам. Погибнет попугай — и утка, то есть я, станет добычей охотников. И еще меня душили внутри рыдания: я оплакивал Папу. Я просто-напросто не мог бы уничтожить запись его живого голоса, которую я держал сейчас в своих руках. Я не мог бы убить.

Если бы эти большие дети это знали, меня бы, как под саранчой, не стало под ними видно. Но они не знали. И, должно быть, по лицу моему ничего видно не было.

— Назад! — крикнул я.

Точь-в-точь как в той прекрасной последней сцене из «Призрака в парижской опере», где Лон Чейни, убегая от разъяренной толпы через полночный Париж, поворачивается к ней, поднимает с таким видом, как будто в нем бомба, сжатый кулак, и на одно захватывающее дух мгновенье толпа в ужасе замирает. Он смеется, разжимает пустую руку, и яростная толпа гонит его в реку, к его смерти... Но только я показывать им, что в руке у меня пусто, не собирался. Она надежно обхватывала тощую шею Кордовы.

— Освободить проход!

Они освободили.

— Не шелохнуться, замереть! Если даже кто-нибудь упадет в обморок, птице конец, и не будет никаких авторских прав, никаких фильмов, никаких фотографий. Шелли, подай клетку и платок.

Шелли Капон с опаской подал мне клетку и ее покрывало.

— В сторону! — заревел я.

Их всех словно отбросило еще на фут.

— Теперь слушайте, — громко сказал я. — Когда я исчезну отсюда и укроюсь в надежном месте, вас всех начнут вызывать по одному, и вы получите возможность познакомиться с этим другом Папы и заработать на сенсации.

Я лгал. Я слышал это в своем голосе. Но надеялся, что они этого не слышат. Чтобы они не успели разобраться, я заговорил быстрее:

— Сейчас я отправлюсь. Смотрите! Видите? Я держу попугая за горло. Жизнь его сейчас зависит только от вас. Ну, мы пошли. Шаг, второй. Осталось полпути. — Я шел между ними, и они не дышали. — Шаг, второй, — продолжал говорить я, между тем как мое сердце билось у меня во рту. — А вот и дверь. Спокойно. Никаких движений. В одной руке я держу клетку. В другой — птицу...

— Львы бежали по желтому песку пляжа, — сказал попугай; горло его вибрировало под моими пальцами.

— О боже! — простонал скорчившийся у стола Шелли. По его лицу текли слезы. Возможно, не только из-за денег. Возможно, Папа что-то значил и для него. Он простирал руки ко мне, попугаю, клетке, призывая нас вернуться. — О боже, о боже! — Он зарыдал.

— Только скелет огромной рыбы лежал у причала, и кости скелета ярко белели в лучах утреннего солнца, — сказал попугай.

— Ох, — выдохнули все.

Я не стал смотреть, плачет ли кто-нибудь еще. Я перешагнул порог. Затворил дверь. Бросился к лифту. О, чудо! Он стоял здесь, и внутри него дремал лифтер. Преследовать меня никто не решился. Наверно, понимали, что ничего не получится.

Войдя в лифт, я посадил попугая в клетку и накрыл ее платком с надписью МАМА. И лифт медленно двинулся вниз, сквозь будущие годы. Я думал о тех годах, о том, как и где я спрячу попугая, и как тепло ему будет у меня в любую непогоду, как хорошо я буду его кормить, и как, раз в день, буду заходить к нему и разговаривать с ним через платок, и никто никогда его не увидит, ни газеты, ни журналы, ни киношники, ни Шелли Капон, ни даже Антонио из кафе «Куба либре». Так будут проходить дни, недели, и вдруг, ни с того ни с сего, меня охватит страх, что попугай онемел. Тогда я проснусь среди ночи, прошаркаю в его комнату, подойду к клетке и скажу: «Италия, год тысяча девятьсот восемнадцатый...» И старческий голос скажет из-под слова МАМА: «Той зимой снег слетал с краев горы сухой белой пылью...» — «Африка, год тысяча девятьсот тридцать второй». — «Мы достали ружья и их смазали, и они были светло-синие и блестящие и покоились у нас в руках, и мы ждали в высокой траве и улыбались...» — «Куба. Гольфстрим». — «Эта рыба всплыла и подпрыгнула до самого солнца. Все, что я когда-либо думал о рыбе, было в этой рыбе. Все, что я когда-либо думал о прыжке, было в этом прыжке. Они вместили в себя всю мою жизнь. Это был день солнца и воды и жизни. Мне хотелось удержать все это в руках. Мне хотелось, чтобы это не кончилось никогда. И однако, когда рыба упала, и вода, белая, а потом зеленая, над ней сомкнулась, все кончилось, кончилось...»

К этому времени мы уже спустились в вестибюль. Двери лифта раздвинулись, я выскочил; не выпуская из рук клетку под ярлыком МАМА, быстро прошел через вестибюль, вышел на улицу и взял такси.

Оставалось самое трудное и самое опасное. Я знал: ко времени, когда я доберусь до аэропорта, его охрана будет уже предупреждена. Можно было не сомневаться, Шелли Капон наверняка сообщит властям, что из страны собираются увезти национальное сокровище. Нужно было придумать какой-то способ пройти с попугаем через таможню.

И мне, как человеку литературно образованному, память помогла сразу найти его. Я остановил такси на минутку и купил банку черного крема для обуви. И я стал делать Кордову неузнаваемым. Я выкрасил его с ног до головы в черный цвет.

— Слушай, — наклонившись к клетке, прошептал я, между тем как мы мчались по улицам Гаваны. — Не вернуть.

Я повторил несколько раз, чтобы он разобрал получше. Звучание этих слов, по всей вероятности, было для него новым, потому что, думал я, Папа никогда бы не стал цитировать соперника средней весовой категории, которого он нокаутировал еще много лет назад. Пока слова «записывались», под платком царило молчание.

Наконец...

— Не вернуть, — хорошо знакомым тенором Папы, — не вернуть, — сказала черная птица.